

«Я ВСПОМИНАЮ...»

(из текста к фильму)

Удивительно, как быстро проходит время. Стирается многое. Остается главным образом детство. И детство это как воспоминание о каком-то рае. Я помню, что с семьей мы очень любили прогулки. И вот в тех местах, где сейчас лежат мои родители, брат, дочка, где кладбище, там мы собирали чернику перед первой мировой войной. Это было как будто совсем недавно. И было такое счастливое время! Мы ходили гулять на Щучье озеро и в этих местах как раз собирали чернику.

Сейчас смотришь фотографии — и отец и мать были очень красивые, но вместе с тем домашние. Для них счастье было — это дом, главным образом дом. Несмотря на то что они были такими домашними, познакомились они не по-домашнему. Познакомились они в Шуваловском парке. Оба хорошо танцевали, и в Шуваловском яхт-клубе они получили первую премию за мазурку. Отец с матерью шли в первой паре. После этого отец стал появляться под окнами родителей моей матери. Прогуливался. Родители уже поняли в чем дело: «твой пришел», значит. Телефона тогда не было. Заглядывали в окно. Потом в конце концов они познакомились уже домами, он как-то решился прийти в дом. И...

Мой отец был очень домашний человек. Любил делать мороженое по воскресеньям; к Пасхе окорок запекать. Мать делала пасху и кулич; а он окорок запекал всегда. И вот есть эту корочку, хлебную корочку от запеченного окорока, — это блаженство было. Лучше не было. Вообще, как внимательны должны быть родители к своим детям, потому что ведь все это запоминается на всю жизнь и потом передается уже своим детям. Помню свою мать, как она ложилась на диван, я заби-

рался между ней и подушками. Было очень уютно. И мы начинали с ней петь песни, детские песни...

Вот портрет моего деда, Михаила Михайловича Лихачева, потомственного почетного гражданина Петербурга. Это звание давалось купцам и ремесленникам. У деда, у прадеда была золотошвейная мастерская. Они обслуживали двор: шили мундиры золотом, ризы церковные золотом шили. За эти заслуги он, очевидно, и получил потомственного почетного гражданина. Дедушка по матери был очень веселый человек, очень веселый. Он был биллярдист, еще играл и в карты. Часто проигрывался, дотла проигрывался. Азартный человек был, очень эмоциональный. Даже из-под кровати у моей бабушки обувь иногда уносил для того, чтобы отыграться. И отыгрывался! И жизнь как-то при том нормально шла. Дедушка любил песни, романсы русские и, я бы сказал даже, ямщицкие: «Степь да степь кругом», «Однозвучно гремит колокольчик»... Помнится, что мне очень нравилось это всегда — «Однозвучно гремит колокольчик».

Эта песня, эта мелодия как-то прошла через всю мою жизнь. Когда я поступил в «Космическую академию», стал «космическим академиком» в свои там 16 или 17 лет, я помню, что у нас был такой гимн: на другие слова, но на этот мотив, который как-то меня очень настраивал. «Набегали сурово барабаны. Приумолкнул наш радостный крик. И сидели мы точно монашки. И летел наш разбойничий бриг».

В начале 20-х годов существовало много молодежных кружков. Ну что это были за молодежные кружки? Это были сообщества — по пять, по шесть, по двенадцать человек, которые летом ходили пешком, скажем, по Военно-Сухумской дороге. Все они стремились иметь какие-то отличия друг от друга. У нас, например, были тросточки, палочки кавказские, купленные на Военно-Сухумской дороге.

Когда я поступил в университет, то ощущал там какую-то одинокость. Учился я сразу на двух факультетах, и мне нужно было много заниматься. Помню, как отец ко мне подходил и говорил: «Митюша, ну хоть бы ты погулять пошел. Ну к кому-нибудь пошел бы. Ну что ты все сидишь над книгами? Нельзя же так». И вот когда меня пригласили в «Космическую академию

наук» (это мои же соученики, одноклассники, потом приятели этих одноклассников — вот этих «космических академиков»-то), я был очень доволен.

Обязанностью нашей было читать шуточные доклады, какие-нибудь очень экстравагантные доклады, что-то придумывать. Это, между прочим, была выдумка наша, но она совпадала с выдумками многих других. У Вернадского, например, многое в его теории вышло из шуточных докладов, которые он читал в санатории «Узкое» Академии наук. И Чуковский читал шуточные доклады, и Крачковский, и так далее. А из шуточных докладов вырастали сложные и серьезные теории.

Мой доклад заключался в оправдании старой орфографии. Не целиком, но некоторые такие соображения я высказал. Соображения эти я до сих пор помню и с ними до сих пор согласен. Ну, вот, скажем, так. Я говорил о недопустимости отмены буквы «ять». Я говорил так, помню, что учимся мы кататься на велосипеде на максимум неделю, а катаемся всю жизнь. Написать, знать, где ставить букву «ять» — это нетрудно выучить, но это облегчает чтение и к тому же связывает нас с историей русского языка. Это буква «ять», это буква «и» с точкой, это «фига», это «ижица»... Мы можем отличить «мир» с точкой и мир с обычным и, восьмеричным. Все это не значит, конечно, что сейчас я стремлюсь восстановить старую орфографию. Это невозможно. Уже новая орфография стала историей. Но в свое время, когда только что отменили старую орфографию, вот такие соображения у меня были, и меня сделали «академиком», после доклада произвели «в академики» по кафедре старой орфографии (у каждого была своя «кафедра», из наших восьми членов).

И вот, когда мы так дружили и радовались нашему юношескому благополучию, нашим идеям, нашей мечте о будущем, как мы и в старости будем встречаться и так далее, мы совершенно не подозревали, что мы делаем что-то противозаконное или что-то дурное. И когда праздновалась годовщина, первая годовщина КАН'а (Космической академии наук), то были всякие шутки. Среди этих шуток была телеграмма, посланная одним из наших — Володей Раковым из Детского Села в Большой конференц-зал, в которой было сказано, что

папа римский поздравляет Космическую академию наук с годовщиной, и еще там были какие-то пожелания. Но оказалось, что эта телеграмма вызвала к себе очень серьезное отношение. Я не знаю, какие происходили события тогда в Ленинграде, связанные с католической церковью, с костелом. Но, во всяком случае, в серьезность этой телеграммы кто-то поверил, и мы почувствовали, что за нами следят, что нами интересуются. И... я и года не был в этой Космической академии, приблизительно месяцев восемь, как 8-го февраля мы были арестованы, и нас всерьез стали спрашивать о наших связях с папой римским.

Сам арест был ужасен для моих родителей. Я впервые увидел, что мой отец, который всегда мне казался самым храбрым и самым умным человеком, вдруг упал в кресло, бледный как смерть. И даже следователь, который производил обыск, подошел к нему и подал стакан воды. Это было ужасно! Это было гораздо хуже, чем мой арест. Поехал я тогда в маленьком «фордике», смотрел и прощался с Ленинградом из окна этого «фордика»...

Жизнь полна удивительных вещей, если сопоставлять разные ее моменты. Скажем, мне удалось быть на самом низу, именно удалось быть. Я благодарен судьбе за это. И на относительной высоте, академической во всяком случае. Вот, сопоставляя, видишь, что жизнь смеется над людьми, смеется над людьми.

Я помню, лет двадцать назад, а может быть, немножко больше, еще это было при президенте Академии наук Келдыше, а может быть, это раньше было — впервые, по-моему, правительство, члены правительства пришли на заседание Академии наук, на общее годичное собрание. И естественно, они должны были занять первые места, а к первым местам первый ряд уже привык, и никто не хочет переходить во второй или в третий ряд, потому что это будет означать, что человек впал в немилость или отстранен от должности и так далее. Итак, люди, вытесненные правительством, членами правительства со своих мест, все равно толкнутся у стульев первого ряда. И зал наблюдает, что происходит что-то странное — люди друг друга толкают плечами, стараясь незаметно продвинуться к первому ряду. Потом в зале раздался хохот, неудержимый хо-

хот, потому что поняли, что эти люди хотят сидеть в первом ряду и никто не хочет перейти во второй ряд. Это академики, это вице-президенты и так далее.

И вот вызвали такого коренастого человека, служащего, который на глаз уже всех знает, всех узнает, и он стал усаживать боком к столу, и усадил всех. Человек, который сидит боком к столу, занимает меньше места и остается в первом ряду. И телевидение его снимает, и фотограф его снимает. И так часа три, пока шло заседание, люди сидели в неудобной позе, притиснутые друг к другу. И я вспомнил, что, когда на пересыльном пункте нас помещали на нарах, положить на нары на спину было нельзя — не поместились бы люди. И их клали отделенные: два отделенных брали человека за руки и за ноги и притискивали друг к другу боком. И все лежали боком, на одном боку. И среди ночи командовали перевернуться, потому что тело-то затекало на одном боку...

Меня всегда выручало, что я мог видеть событие как бы со стороны, интерес к тому, что происходит вне меня. Когда я приехал в Кемпункт, то первое ощущение — ощущение фантастики... Крики и издевательства конвоя. Меня ударили сапогом по лицу, когда я спускался из вагона. Потом какое-то нелепое требование, чтобы мы бегали вокруг столба. С вещами. Причем люди, ругавшие нас матом, говорили между собой по-французски. У меня было впечатление такое, что я вижу какой-то необычный сон, будто я попал в кинематограф, и я засмеялся. Мне было смешно. Это меня выручало, потому что я как бы смотрел на все со стороны.

В общем, мне всегда везло в жизни, но в последний момент. Всегда оказывалось так, что я находусь в каком-то критическом состоянии, и в этом критическом состоянии в последний момент я оказывался в выигрыше, и даже в моральном выигрыше... Вот когда нас привезли в 13-ю роту общих работ и когда я работал то помощником ветеринара, то электромонтером, то пилил дрова на электростанции (причем это я умел делать, это мне нравилось даже), то собирая ягоды, то еще куда-то меня отправляли, во всякие места, в конце концов я попал в криминологический кабинет. В криминологическом кабинете, я не знаю, по чьей инициативе, не помню уже, началась организация детской ко-

лении, колонии несовершеннолетних преступников, которые попадали туда по тридцать пятой статье тогдашнего еще кодекса как люди социально опасные. Это карманники, беспризорные, наркоманы, малолетние проститутки (шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет). Ну вот, такая публика, которую я уже начал жалеть в 13-й роте. Мы решили, что их нужно изолировать от взрослых преступников. Может быть, их можно спасти. Эта идея понравилась начальству, потому что начальству нужна была показуха, туфта. Создание такой колонии для перевоспитания малолетних им показалось выгодным. И это действительно было выгодно, потому что мне и моим товарищам по криминологическому кабинету удалось спасти сотни жизней, определяя ребят в колонию. Я опрашивал ребят, записывал их биографии, причем они же сами надо мной смеялись: «Ну мы же все врем вам. Зачем вы записываете?» А меня начала интересовать уже научная тема. Тема такая — как они оправдывают то, что они стали ворами.

Они беспрерывно играли в карты. Проигрывали с себя все. Сидели прямо голыми. Спасались они под нарами. Я следил за их игрой в карты и изучал эту игру. Потом я написал статью «О картежных играх уголовников». Сам я никогда в карты не играл. Но по рассказам, по тому, что наблюдал, я написал эту статью. Ее напечатали — это была моя первая научная работа — в журнале тоже фантастическом. В общем, фантастическом, потому что в лагере, где творились всякие ужасы, вдруг возникает журнал, который продается по всей стране, на который объявляется подписка и в который пишут статьи все мои знакомые.

Я жил в камере с Владимиром Кемецким (Свешниковым). Это был великолепный поэт. Великолепный поэт! Он вернулся из Парижа, но совершенно не совладал с нашей тогдашней обстановкой — говорил, что ему вздумается, писал, что ему вздумается... И вот он в «Соловецких островах» печатал свои прекрасные стихотворения.

Казарновский, Юрка Казарновский — так мы его называли, это был очень талантливый мальчик, из Ростова-на-Дону. Он писал стихи, и его стихи сейчас опубликованы в «Огоньке». Казарновский не вылезал из лагерей и там любил сочинять хохмы. Скажем, когда

Успенский, начальник культурно-воспитательной части, к нему обращается со словами: «Ну, сделай так. Какой-нибудь лозунг нам придумай, что у нас на Соловках все делается для рабочих и крестьян». И он сразу, с ходу говорит (быстрая сообразительность такая еврейская): «Соловки — рабочим и крестьянам». — «О, здорово! О, здорово! Надо написать лозунг». И над Никольскими воротами, единственным и главным входом на Соловки, был развернут красный такой транспарант, и белым было написано: «Соловки — рабочим и крестьянам!»

Потом кто-то сказал, что не совсем это удобно...

В одной комнате я жил не только со Свешниковым (Кемецким), но и с «королем» всех урок на острове, фактически вторым начальником лагеря, потому что все уголовные ему подчинялись. Это был Иван Яковлевич Комиссаров. Весьма почтенный уголовник, бандит, сподвижник знаменитого Леньки Пантелеева, его ученик, грабивший фондовые биржи, ходивший даже с пулеметом на ограбления, — у него собственный пулемет был. Ну, и он спас мою жизнь, потому что однажды, когда у меня украли пропуск по острову (это была большая редкость — не всем выдавали, но мне он был нужен, потому что я собирал подростков для трудовой колонии — по разным командировкам ездил и так далее), — когда у меня украли этот пропуск, я ему пожаловался, сказал, что не оставят меня, отправят на Секирку и все, конец: «Иван Яковлевич, помогите как-нибудь». Иван Яковлевич сказал: «А что я могу? Я ничего не могу». Через три дня я этот пропуск нашел у себя в кармане.

Все слухи назывались «парашами». А так как они исходили главным образом из радиостанции, то — «радиопарашами». Были сложены стихи: «Что за радиопара... что за гром? Это танцует, наевшись каш, наш веселый слон». Слон — это был символ Соловецкого лагеря особого назначения — белый слон, потому что на Белом море. И даже клумба перед управлением была выложена из белых, побеленных кирпичей (кирпича силикатного тогда еще — не было). На клумбе был огромный слон. На попоне — «у» (управление). УСЛОН. И печать такая же была. Так что юмор — он незаметно проникал и в среду начальников, которым не

положено было смеяться, которые всегда были серьезны, всегда нахмурены, всегда с пронзительным таким взором, подозревающим, нудным.

Я был арестован в двадцать восьмом году. Это первый сигнал сталинской эпохи. Но то, что нельзя было развернуть в большом государстве сразу, то можно было развернуть в маленьком государстве. Потому что Соловки, концентрационный лагерь, представляли собой государство в государстве, маленькое государство. И нам так и кричали в первый день: «Помните, что здесь власть не советская, здесь власть соловецкая!», «Нога прокурора сюда не ступала!», «Жаловаться некому!» — и так далее — кричали. И это была чистая правда! Потому что это было государство в государстве, имевшее свою денежную систему, свою железную дорогу, свое пароходство. Но... при этом полный беспорядок, свой беспорядок. И вот здесь власть начали брать сумасшедшие, или, вернее, люди, стоящие на грани сумасшествия, шизофреники, параноики, которые начали придумывать несуществующие заговоры, чтобы запугать начальство и тем самым овладеть властью, быть приближенным к нему. А быть приближенным к начальству — это значит получить какой-то паек, что-то дополнительное, какие-то лучшие условия проживания, спать не на нарах, а на топчане и так далее. И вот начались доносы, выдуманные дела, сажание в карцер друг друга. Свои «лысенки» объявились...

Власть, которую получали эти сумасшедшие, — она опьяняла. И люди, которые владели этой властью, становились с каждым днем все более и более жестокими. Им казалось, что в этом их могущество. На самом деле это было могущество обстоятельств, в которые они попадали. И начинались издевательства над заключенными, потом наказания заключенных. В издевательствах над людьми эти сумасшедшие получали удовлетворение. Какое-то. Им казалось, что они выше всех. Им особенно было приятно наказать профессора, наказать ученого, наказать того, кто в нормальной жизни был бы их выше. Вот ты был профессор, ты был артист, ты был врач, а теперь вот делай то, что я заставляю тебя делать...

Тerror ведь основан на боязни. Тиран боится своих подчиненных. Вот что такое тирания, основа тирании.

И тут то же самое было. Охрана боялась, очень боялась возможности восстания, непослушания. И поэтому она для гарантии своей сохранности получила разрешение запугать арестованных. Тем более что на нее были жалобы — на жестокость и так далее. Даже в Совете Народных Комиссаров поднимался об этом вопрос. И вот было получено разрешение расстрелять триста человек. В это время мои родители были у меня на свидании. Они наняли комнату у одного из охранников, и мы там втроем жили в этой комнате некоторое время, несколько дней. Вдруг ко мне приходят из роты — это был как раз день расстрелов. Вызвали в коридор из комнаты, чтобы родители не слышали, говорят: «За тобой приходили. Что-то надо делать...» Я вернулся к родителям и сказал, что ухожу на ночную работу, меня вызывают, что приду утром.

И я вышел. Куда деваться? Я пошел в Кремль, но не вернулся в роту. Я спрятался между делянками дров. И сидел. В это время раздавались выстрелы на кладбище. И я просидел всю ночь, ожидая, расстреляют меня или нет, найдут меня или нет между этими дровами.

И вот тут случилось со мной то, что случилось однажды в детстве. В детстве мне снился страшный сон. Сон был такой: на меня едет поезд, и поезд наезжает, и я страшно боюсь, что он меня раздавит. Потом я даже не хотел спать и делал все, чтобы не заснуть. Но детский сон все-таки очень крепкий. Так что я засыпал. И опять видел этот сон. И я стал тогда рассуждать: это ведь сон, он мне не может причинить никакой неприятности. Я скажу этому паровозу, который на меня наезжает: «Я тебя не боюсь. Ты — во сне». И я сказал это паровозу. И паровоз рассыпался передо мной. И после этого кошмар больше не повторялся. И вот когда я сидел между дровами, и утром вышел, и оказалось, что расстрелы кончились, то у меня появилась уверенность, что не будет больше этого кошмара, мне нечего бояться.

Каждый день, прожитый мною, — это подарок мне. Я живу жизнь за этого второго человека, которого вместо меня расстреляли. Потому что ведь подводили под общее число — триста человек. И я должен прожить достойно за него.

Когда я вернулся с Соловков, то я понял — очень большие изменения произошли в жизни. Меня арестовали восьмого февраля двадцать восьмого года, вернулся я восьмого августа тридцать второго года. За это время произошли колоссальные перемены. Я увидел, что из одного лагеря я попал в лагерь другой, большего масштаба. Большего масштаба и, может быть, в котором легче скрыться. Но... мне было все-таки очень трудно, я не мог поступить на работу полгода. Должен сказать, что состояние безработного, который не может поступить на работу по каким-нибудь причинам, очень тяжелое, и, хотя я был ударником Беломорско-Балтийского канала и получил удостоверение с красной поперечной чертой, означавшей, что с меня всякая судимость снята, тем не менее меня не принимали на работу.

... *Лихачев (обращаясь к жене).* А ты помнишь, как я пришел в издательство? Наниматься пришел.

Зинаида Александровна. Пришел в издательство. В пальто, и такая у него была круглая каракулевая шапочка, которая ему очень шла. Пальто это, оказалось, было его отца, но на нем хорошо сидело. Ну, вот, он пришел. А у нас там, кроме меня, были еще молодые сотрудницы. Мы потом спрашиваем: «А кто этот молодой человек?» «А это к нам хочет поступить корректором». «Пожалуйста, возьмите его», — мы говорим.

Было начало осени... Потом смотрю, уже октябрь, а он все ходит в белых туфлях. Думаю, наверно, бедный человек или семья большая.

Лихачев. Я ходил в парусиновых туфлях, потому что они были очень удобны. А перед этим я привык ходить в русских сапогах. Портянки, русские сапоги — в лагере же.

Я так был рад, что у меня наконец удобная обувь, что я до снега ходил в парусиновых туфлях.

Так началось наше знакомство. И идейное руководство Зинаиды Александровны мной. Она всегда мне говорит, что закрыть, что открыть, что одеть, какую рубашку... Все я покорно слушаю.

В 30-е годы я работал на самой незаметной должности, которая только может быть — корректором в Издательстве Академии наук. Я ни с кем не говорил,

приходил и садился молча за корректуру, потом молча от нее уходил. Но были такие события, когда надо было бы участвовать в общественной жизни. Были заседания, собрания и по фабрикам, и по заводам, и по учреждениям. Когда начались процессы, вот эти страшные процессы 37—38-го годов, то нужно было на этих собраниях голосовать за смертный приговор. Даже некоторые выступали с пафосом, с истерикой, что они не могут этого выдержать, всех этих чудовищных преступлений, службы японским там империалистам или каким-нибудь еще, я не знаю, швейцарским или исландским. Что только не выдумывали тогда по поводу этого! И вот моя задача заключалась в том, чтобы предвидеть такого рода заседания и не прийти вообще в издательство.

А время было жестокое... Шли аресты. А у нас появилось сразу двое. Чудные девочки были! Но жили мы бедно... Жили в одной комнате. На ночь расставляли постели. И когда постели расставят, так уже ходить было нельзя.

Вот, что такое была блокада — это трудно сегодня представить, это невозможно рассказать. Электричества нет. Окна зашторены, и не всегда хватает сил днем шторы поднять. А вообще-то зимой все время темно. Коптилка только... Я еще с восемнадцатого года умел делать такие коптилки, с минимумом керосина, которые горели, как тоненькая маленькая свечечка горит. При ней можно было читать. Мы лежим под одеялами, под шубами — все, что можно, на себя накидываем. Потому что страшнее, чем голод, холод, — холод, какой-то изнутри идущий. Ведь не отапливается организмто, в нем нет тепла. И этот внутренний холод — он страшен. Дрожь пронизывает. В это время какой-то звук — это умирает от голода мышь, потому что мы съедали все крошки... Мы лежим и высчитываем, на сколько дней у нас еще хватит немножко картофельной муки, чтобы замутить кипяток. Единственное живое, кроме нас, что было в комнате, — это часы. Они тикали, ходили. Мы по ним только узнавали время, что это — ночь или день и когда Зинаиде Александровне идти за хлебом, становиться в очередь. Ночью-то — комен-

дантский час, выходить на улицу нельзя. Зинаида Александровна пряталась по парадным разным, по лестницам, и очередь пряталась от милиционеров. Ну, потом и милиционеров не стало. Так что вот эта обстановка такого одиночества каждой семьи, каждой семьи одиночества... И спасают только стихи, потому что при коптилке читать можно было одному, одному можно было читать вслух. Вслух что читать, когда думы все время перебиваются голодом. Только стихи. Вот стихи, поэзия — она способна была пересилить чувство голода.

К весне стало немного лучше, появились какие-то добавки к пайкам, паек стал чуть больше. Но все равно было очень страшно, потому что начались обстрелы. И я не всегда был дома, должен был быть на службе, в своей военизированной охране, отрядах самообороны. Там, на службе, тоже умирали — умирали между стеллажами книг, умирали в кабинетах... в первую очередь умирали старики. Умирал мой отец за стенкой... Потом мы его зашивали в простыню, клали на детские саночки и везли в морг. Где-то он на Серафимовском кладбище в общей могиле похоронен.

Ну, обычно когда снимают фильм о людях старых, то стремятся свести все к благополучному концу. Я не скажу, чтобы в нашей жизни получился хеппи-энд. Нет. Во-первых, убавилась семья — не стало одной из дочерей. Во-вторых, в общем, так сказать оглядываясь на прошлое, мы видим, сколько было всяких и несчастий, и тяжелых переживаний, и сколько голодов было, несколько голодов было — и в восемнадцатом году, и в тридцать втором году, и блокада. Жизнь была тяжелая. Неприятностей много. И тем не менее вот та маленькая группа моих учеников, которая у меня осталась в секторе, она доставляет мне большую радость. Доставляют мне радость не только ученики, но и то, что мне удалось сделать. Удалось мне все-таки возродить интерес к древнерусской литературе. Это заслуга и моих товарищ, и в какой-то мере моя. Я этим очень горжусь. Мне удалось найти хороших помощников в этом деле, в деле пропаганды замечательных семи веков древнерусской литературы. Это целый культурный пласт.

Случайность в жизни играет огромную роль. Слу-

чились признание. Могло и не случиться признания. Но менять в жизни ничего не следует. Единственно, что следует помнить о том, что в старости будешь думать о молодости, о каждом своем поступке. И стараться поступать так, чтобы не раскаиваться ни в чем, что было сделано. Это очень трудно.